

МАРУСЯ
ОТРАВИЛАСЬ

СОСТАВИТЕЛЬ
ДМИТРИЙ БЫКОВ



MA



РУСЯ

ОТРАВИЛАСЬ

СОСТАВИТЕЛЬ
ДМИТРИЙ БЫКОВ

СЕКС

★ СМЕРТЬ ★

В 1920е

АНТОЛОГИЯ

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★



РЕДАКЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЕЛЕНА АСТ
ШУБИНОЙ МОСКВА

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ	9
ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ МАРУСЯ ОТРАВИЛАСЬ	37
ИВАН МОЛЧАНОВ СВИДАНИЕ	45
ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ ПИСЬМО К ЛЮБИМОЙ МОЛЧАНОВА.....	49
ОСИП БРИК НЕ ПОПУТЧИЦА	55
ПАНТЕЛЕЙМОН РОМАНОВ БЕЗ ЧЕРЕМУХИ	97
НИКОЛАЙ НИКАНДРОВ РЫНОК ЛЮБВИ	111
ЛЕОНИД ДОБЫЧИН ВСТРЕЧИ С ЛИЗ	173
СЕРГЕЙ МАЛАШКИН ЛУНА С ПРАВОЙ СТОРОНЫ... (Гл. 1, 6–12)	181
СЕРГЕЙ СЕМЕНОВ НАТАЛЬЯ ТАРПОВА (2-Й АКТ)	237
АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ АНТИСЕКСУС	261
АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ ГАДЮКА	275
ГЛЕБ АЛЕКСЕЕВ ДУНЬКИНО СЧАСТЬЕ	317
ГЛЕБ АЛЕКСЕЕВ ДЕЛО О ТРУПЕ	349

ЛЕВ ГУМИЛЕВСКИЙ СОБАЧИЙ ПЕРЕУЛОК (ЧАСТЬ 1, 2)	383
ЛЕВ ГУМИЛЕВСКИЙ ИГРА В ЛЮБОВЬ (ЧАСТЬ 1, ГЛ. 8, ЧАСТЬ 2, ГЛ. 1) ..	507
НИКОЛАЙ ВИГИЛЯНСКИЙ, БОРИС ГАЛИН РАССКАЗЫ	
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ	527
ПРОПИВАЮТ ПОМОИ	531
СЕРГЕЙ ТРЕТЬЯКОВ ХОЧУ РЕБЕНКА	533
НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ СВАДЬБА	625
ИЛЬЯ РУДИН СОДРУЖЕСТВО (ГЛ. 4, 7-8, 12)	629
ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН НАВОДНЕНИЕ	715
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ	743
БЛАГОДАРНОСТИ	750

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

В этой книге три слабых, но знаменитых текста, примерно десять обыкновенных и три великих. Все они рассказывают об эпохе нэпа, эпидемии самоубийств и моде на свободную любовь, а вовсе не о партийных дискуссиях, производственных прорывах и борьбе с кулачеством.

И это, граждане мои и гражданочки, даже удивительно, как сказал бы один из главных летописцев той эпохи.

Два писателя, которых никто тогда не назвал бы классиками, а многие бы даже обиделись, узнавши, что классики-то как раз эти два одессита, — писали примерно в это время: «В большом мире изобретен дизель-мотор, написаны “Мертвые души”, построенна Днепровская гидростанция и совершен перелет вокруг света. В маленьком мире изобретен кричащий пузырь “уйди-уйди”, написана песенка “Кирпичики” и построены брюки фасона “полпред”».

И тут выясняется, граждане и гражданочки, что Днепровская гидростанция не есть еще факт внутренней жизни человека и потому отражения в литературе почти не получает, разве что товарищ Асеев пишет ужасное стихотворение «Днепр пошел влево». Зато кричащий пузырь «уйди-уйди» становится сюжетообразующим элементом фантастического романа о джинне, а песенка «Кирпичики» — вообще пароль для современников и известна в сотне народных вариантов. Еще в человеческом мире происходит свободная любовь, разложение семьи, превращение партийцев в обывателей, реванш всякого старья, словом, «Ключи счастья» и «Санин» с поправкой на советскую власть.

И если кому-то покажется, что мы перепечатываем тексты столетней давности в погоне за клубничкой, — что ж, граждане, оно и тогда кое-кому так казалось. А между тем писатели говорили о том, что видели: о том, как в эпоху, наследующую великим пере-

менам, люди кидаются в разврат и смерть, потому что опять убедились в роковой неповоротливости человеческой природы, в подлой и спасительной неизменности ея.

Вот про это книжка. А про любовь и смерть, конечно, всякому приятно почитать, и, как учит нас эпоха нэпа, — каждый пушай выкарабкивается как умеет. Издательство не исключение.

1

4 октября 1927 года в «Комсомольской правде» появилось стихотворение Маяковского, открывающее эту антологию. 31 августа того же года в «Комсомолке» появилась заметка «Скучно жить» — о самоубийствах в комсомольской среде. Оттуда Маяковский взял эпиграф.

К этой теме он обращался многожды, словно стремясь заковать собственную манию: пытался задним числом разагитировать мертвого Есенина («Так зачем же увеличивать число самоубийств?»), издевался над Зоей Березкиной в «Клопе», застрелившейся от несчастной любви к абсолютному ничтожеству («Эх, и покроют ее теперь в ячейке!»). Как знал, что посмертно «покроют в ячейке» и его — РАППовский некролог тоже расценивал его гибель как слабость. Но внимание Маяковского к этой проблеме было продиктовано не только собственным его стремлением к самоуничтожению: скорей эту манию следует рассматривать как типичный для Серебряного века случай суицидального психоза. Потому что ведь Серебряный век не кончился в семнадцатом году. Он продолжился, хоть его драмы и спустились уровнем ниже. Раньше «половой вопрос» решали гимназисты и курсистки, стрелялись и травились представители среднего класса, теперь все это сделалось достоянием комсомольцев, фабричных работниц, красного студенчества. Хотя почему, собственно, «сделалось»? И крестьянки любить умеют, и на фабриках кипели страсти, и стихотворение Маяковского, с которого мы начали, — в сущности, лишь парафраз сардонической песенки Сологуба 1911 года:

Коля, Коля, ты за что ж
Разлюбил меня, желанный?

Отчего ты не придешь
Посидеть с твоею Анной?

На меня и не глядишь,
Словно скрыта я в тумане.
Знаю, милый, ты спешишь
На свидание к Татьяне.

Ах, напрасно я люблю,
Погибаю от злодеек.
Я эссенции куплю
Склянку на десять копеек.

Ядом кишки обожгу,
Буду громко выть от боли.
Жить уж больше не могу
Я без миленького Коли.

Но сначала наряжусь,
И, с эссенцией в кармане,
На трамвае прокачусь
И явлюсь к портнихе Тане.

Злости я не утаю,
Уж потешусь я сегодня.
Вам всю правду отпою,
И разлучница, и сводня.

Но не бойтесь — красоты
Ваших масок не нарушу,
Не плесну я кислоты
Ни на Таню, ни на Грушу.

«Бог с тобой! — скажу в слезах. —
Утешайся, грамотейка!
При цепочке, при часах,
А такая же ведь швейка!»

Говорят, что я проста,
На письме не ставлю точек.
Всё ж, мой милый, для креста
Принеси ты мне веночек.

Не кручинься, и, обняв
Талью новой, умной милой,
С нею в кинематограф
Ты иди с моей могилы.

По дороге ей купи
В лавке плитку шоколада,
Мне же молви: «Нюта, спи!
Ничего тебе не надо.

Ты эссенции взяла
Склянку на десять копеек,
И в мученьях умерла,
Погибая от злодеек».

Главный парадокс двадцатых — который поможет нам понять многие парадоксы девяностых и нулевых, — связан с тем, что революция не принесла ни новых жанров, ни новых героев. А если и принесла, все это не приживалось: ни драматические монтажи Вишневского, лишённые психологизма, ни «литература факта», насаждавшаяся ЛЕФовцами, не имели ни читательского, ни зрительского успеха. Продолжался все тот же «Санин», только теперь эти эротические драмы разыгрывались уже в студенческих и заводских общежитиях. В одном романе нулевых революционный поэт, сторонник новых форм, заявлял: «Пролетариат сделал революцию не для того, чтобы ходить в академический театр!» «Верно, — отвечал ему более проникательный скептик. — Пролетариат сделал революцию для того, чтобы ходить в синемотограф».

Литература двадцатых не предложила сколько-нибудь ярких производственных романов. Критика вцепилась в «Цемент Гладкова», потому что все остальное в этом жанре было уж во все некондиционно; даже в тридцатые, когда к борьбе за произ-

водственный роман подключились лучшие литературные кадры из уцелевших — Валентин Катаев, Мариэтта Шагинян, Илья Эренбург, — читать «Гидроцентральный» или «День второй» можно было только на безрыбье.

В двадцатые альтернатива еще наличествовала: пышно расцвел советский любовный роман, параллельно развивался плутовской. То-то и чудо, что величайшая из мировых революций осталась не отображена в прозе. В поэзии кое-что было, в основном по горячим следам, в драматургии тоже, но проза двадцатых, еще не загнанная в идеологическое русло, от революции отворачивалась. Интересней было рассказывать о похождениях Великого провокатора Хулио Хуренито, Великого комбинатора Остапа Бендера и прочих прелестных авантюристов: Невзорова из «Ибикуса» А. Толстого, «Расстратчиков» Катаева, «Форда» Юлия Берзина, Обольянинова из булгаковской «Зойкиной квартиры». Писатели с куда большей охотой писали, а читатели читали авантурные романы, но уж никак не историю партизанской борьбы или пролетарского трудового подвига.

Вторая же линия прозы двадцатых — прямое продолжение главной коллизии Серебряного века, отчаянной борьбы Эроса с Танатосом: что раньше было темой «Ключей счастья» или «Гнева Диониса», или фильмов с Верой Холодной и Верой Малиновской, теперь стало темой комсомольских диспутов. «Молодая советская литература» — так ее называли — озаботилась вопросом свободной любви и права на самоуничтожение. Эта коллизия в последнее время привлекает внимание многих российских и зарубежных исследователей — сошлемся хотя бы на фундаментальную статью 2005 года «Эротическая тема в ранней советской литературе», написанную Александром Беззубцевым-Кондаковым.

На что уж пуританином был Ленин, — а и он, согласно воспоминаниям Клары Цеткин, сказал ей: «В области брака и половых отношений близится революция, созвучная пролетарской». Вопрос только в том, случится ли эта революция ВМЕСТЕ с пролетарской — или ВМЕСТО нее, как способ погасить неизбежное разочарование; печальная правда заключается в том, что осуществилось второе.

Но тут, собственно, не одна, а три темы. Первая — свободная любовь, теория «стакана воды», приравнивание полового чувства к обычному голоду, который мы удовлетворяем без всяких моральных исканий и угрызений совести; избавление любви от романтического флера, стыдливости, ритуала ухаживаний. Вторая — новые конфигурации семьи: коммуна, «любовь втроем», иногда — вариации хлыстовской секты, где хлыстовская богородица одаривает избранных своей любовью, а все вместе служат ей. И третья — тесно связанная с ними: скука, одиночество, ранняя пресыщенность и рискованные эксперименты с собственной жизнью. После того как в ранние годы испробовано все, смерть воспринимается как последнее острое ощущение; гротеск же тут в том, что мысли и страсти Серебряного века выражаются языком и стилем комсомольца двадцатых, у которого в голове каша из культпросветовских брошюр, марксистских цитат, уличного жаргона и бульварной литературы, которая вдруг стала на вес золота. Эта мгновенно узнаваемая смесь бурлит в отчетах о студенческих диспутах, в газетной публицистике и в ранней советской прозе, герои которой говорят на ужасной смеси высокого штиля, бульварных штампов и самой грязной уличной брани. В первую очередь это касается стиля рудинского «Содружества», в меньшей — повестей Чумандрина и Брика, но именно этот сдвинутый язык больше всего говорит об эпохе: речь блистательного и трагического века в устах нового поколения выглядит как девка, брошенная в полк.

Что же, революция ничего не изменила? Как сказать. Она не сняла ни одной метафизической проблемы, не отменила чувства общего тупика, и это самый печальный показатель: социальный переворот не стал антропологическим. Новый человек, которого чаяла вся культура модерна, не осуществился, главная утопия рухнула, да уже и Первая мировая была предвестием этого краха. В этом смысле разочарование было общим и накрывало даже тех, кто не мог его сформулировать, — а после красного террора и эми-

грации таких стало большинство. Нэп воспринимался не как ослабление, не как мирная передышка, а как глобальное поражение, и в этом горьком разочаровании были едины даже такие антагонисты, как оставшийся Маяковский и уехавший Ходасевич. Нэп был идеальным временем для авантюристов, но и они презирали эту компромиссную эпоху. Взять власть оказалось недостаточно: мировая революция не состоялась, радикальная перековка психики не случилась. Новое эротическое помешательство, охватившее уцелевших, было по природе такой же унылой и, в сущности, самоубийственной оргией, как эрос Серебряного века, так пышно и безвкусно расцветший в 1907-1911 годах. Памятником этого расцвета остались сочинения Арцыбашева (не выдерживающие, в общем, никакой критики), «Тридцать три уroda» Зиновьевой-Аннибал, «Крылья» Кузмина (скромнейшие даже по советским меркам), «Творимая легенда» Сологуба, даже «Суламифь» Куприна, относительно которой Горький отчасти справедливо выразился, что Соломон там смахивает на ломового извозчика. Саша Черный припечатал всех — и его сатира 1908 года полностью применима и к эротическому буму двадцатых:

«Проклятые» вопросы,
Как дым от папиросы,
 Рассеялись во мгле.
 Пришла Проблема Пола,
 Румяная фефела,
 И ржет навеселе.

Заерзали старушки,
Юнцы и дамы-душки
 И прочий весь народ.
 Виват, Проблема Пола!
 Сплетайте вокруг подола
 Веселый «Хоровод».

Ни слез, ни жертв, ни муки...
Подыдем знамя-брюки
 Высоко над толпой.

Ах, нет доступней темы!
На ней сойдемся все мы —
И зрячий и слепой.

Или, как год спустя сформулировал он же: «Отречемся от старого мира и полезем гуськом под кровать».

Трудно признать, что нечто подобное творилось и в двадцатые, которые мы-то, ученики советской пропаганды, привыкли воспринимать как эпоху победившего авангардизма; но Маяковский не зря назвал свое программное стихотворение 1921 года «О дряни». Если в чем и остался авангардизм, так в половом вопросе. Здесь тон задавала Александра Коллонтай, которую в СССР помнили главным образом как посла в Швеции, — но Бунин, скажем, воспринимал ее совершенно иначе: «Была когда-то похожа на ангела. С утра надевала самое простенькое платьице и скакала в рабочие трущобы — “на работу”. А воротясь домой, брала ванну, надевала голубенькую рубашечку — и шмыг с коробкой конфет в кровать к подруге: “Ну давай, дружок, поболтаем теперь всласть!”» Бунин, впрочем, с современниками мало церемонился — для более серьезного изучения личности и взглядов Коллонтай рекомендуем несколько недавних статей Артемия Пушкарева, но прежде всего ее собственные тексты двадцатых — «Дорогу крылатому Эросу! Письмо к трудящейся молодежи» или «Новую мораль и рабочий класс». Там она характеризует революционную эпоху с великолепной простотой и даже невинностью: «Брачное общение возникало попутно, среди дела, для удовлетворения чисто биологической потребности, от которой обе стороны спешили отвязаться, чтобы она не мешала основному, главному — работе на революцию».

Мирная передышка позволила заменить бескрылый Эрос крылатым, но это никак не приводит к реставрации традиционной семьи: напротив, половые запросы удовлетворяются без ханжества, и удовлетворение это обставляется с пафосом и некоторой даже пышностью. «С удивлением замечаешь в руках ответственных работников, которые в прошлые годы читали только передовицы “Правды”, протоколы и отчеты, — книжечки беллетристического свойства, где воспевается “крылатый Эрос”...» — признается автор. Ничего удивительного: победивший пролетариат и даже его

вожди хотят, чтобы им «сделали красиво». «Не попутчица» Осипа Брика — как раз про это. Текст из рук вон плохой (Брик и не старался писать «художественно»), но социально точный. А что фабула ходульна — так ЛЕФовцев фабула не интересовала: литература вещь функциональная, и если, чтобы достучаться, нужно писать треш — будем писать хоть треш, хоть ямбом.

Главный вопрос новой эпохи Коллонтай формулировала так: «Как построить отношения между полами так, чтобы эти отношения, повышая сумму счастья, вместе с тем не противоречили бы интересам коллектива?» И отвечала: частно-собственнические буржуазные отношения должны уступить место «любви-товариществу», в полном соответствии с мечтаниями Чернышевского: «...чувство любви как в широком смысле слова, так и в области отношения между полами может и должно сыграть в деле упрочения связи не в области семейно-брачных отношений, а в области развития коллективистической солидарности». «“Симпатические скрепы” между всеми членами нового общества вырастут и окрепнут, “любовная потенция” подыметя и любовь-солидарность явится таким же двигателем, каким конкуренция и себялюбие являлись для буржуазного строя». Разумеется, все эти свободные связи должны диктоваться не похотью, а общностью интересов, но буржуазные добродетели вроде моногамии для пролетариата недействительны: «Для классовых задач рабочего класса совершенно безразлично, принимает ли любовь форму длительного и оформленного союза или выражается в виде преходящей связи. Идеология рабочего класса не ставит никаких формальных границ любви».

Читать все это довольно забавно, особенно если обладаешь конкретным, буквалистским мышлением: «Как бы велика ни была любовь, связывающая два пола, как бы много сердечных и духовных скреп ни связывало их между собою, подобные же скрепы со всем коллективом должны быть еще более крепкими и многочисленными, еще более органическими. Буржуазная мораль требовала: всё для любимого человека. Мораль пролетариата предписывает: всё для коллектива».

Рисуется какое-то коллективное упоение любовью в духе позднего Рима, но, разумеется, никакого свального греха Кол-